

*Эта книга посвящается тем,  
кто опускается на колени,  
и тем, кто поднимается во весь рост*

## ПРОЛОГ

В начале девятнадцатого века Католическая церковь поняла, что у нее есть одна проблема. Нужно признать, что проблем у нее, вероятно, имелось гораздо больше. Но та, что занимала тогда церковь в первую очередь, была связана с Литургией часов<sup>1</sup>, включавшей восемь ежедневных молитв, во время которых звучали песнопения. Хоралы. Григорианские песнопения. Простые одноголосные мелодии, исполнявшиеся смиренными монахами.

Если уж называть вещи своими именами, то Католическая церковь потеряла Литургию часов.

Различные службы в течение дня продолжали отправляться. То, что считалось григорианскими песнопениями, продолжало звучать время от времени то в одном, то в другом монастыре, однако даже в Риме признавали: эти песнопения так далеко ушли от оригинала, что их можно назвать искаженными, даже варварскими. По крайней мере, в сравнении с изящными, прекрасными мелодиями, исполнявшимися на несколько веков раньше.

Но один человек знал, как решить проблему.

В 1833 году молодой монах отец Проспер<sup>2</sup>, который восставил и возглавил монастырь во французском Солеме, задался целью возродить оригинальные григорианские песнопения.

<sup>1</sup> *Литургия часов* — в Римско-католической церкви наименование богослужений, которые должны совершаться ежедневно в течение дня.

<sup>2</sup> *Проспер Геранже* (1805–1875) — литургист, историк церкви, настоятель бенедиктинского монастыря в Солеме. Геранже был известен как борец за устранение во Франции локальных литургических практик и за восстановление единой римской богослужбной традиции.

Однако тут возникла еще одна проблема. В результате поисков, проведенных настоятелем, выяснилось, что никто не имеет представления о том, как звучали первые песнопения. Никаких записей самых ранних хоралов не было. Они появились в такой древности — более тысячи лет назад, — что предвосхитили появление нотной грамоты. Их заучивали на слух в течение долгих лет и передавали по памяти из поколения в поколение. Те песнопения отличались простотой, но в самой их простоте и содержалась сила. Первые песнопения были утешительными, созерцательными, притягательными.

Древние песнопения оказывали такое сильное воздействие на тех, кто их пел или слышал, что им дали название «прекрасная тайна». Монахи считали, что они поют слова Господа спокойным, утешительным, завораживающим голосом Господа.

Отец Проспер знал, что в девятом веке, за тысячу лет до его времени, некий монах тоже задумывался о тайне песнопений. По церковному преданию, ему было откровение, и он решил сделать запись песнопений, чтобы сохранить их для потомков. Слишком многие тупоголовые послушники совершали слишком много ошибок, пытаясь заучить хоралы. Если слова и музыка этих песнопений имели воистину Божественную природу (а монах верил в это всем сердцем), то для их сохранения требовалось что-то более надежное, чем человеческая голова.

Из каменной кельи своего монастыря отец Проспер видел того монаха, — видел, как он сидит точно в такой же аскетической комнате. Как он подтягивает к себе отрезок ягнячьей кожи — пергамента — и макает гусиное перо в чернильницу. Текст — слова — он записывал, конечно, на латыни. Псалмы. А когда закончил, вернулся к началу. К самому первому слову.

Его перо замерло.

Что дальше?

Как записать музыку? Как передать нечто столь неуловимое? Он попытался составить инструкции, но они получились совершенно неудобоваримыми. Одними лишь словами невозможно передать, как музыка возвышает человека, как поднимает его до божественного состояния.

Монах пребывал в замешательстве. Дни и недели вел он монашеское существование. Вместе с другими молился и работал. И снова молился. Исполнял песнопения Литургии часов. Обучал рассеянных молодых послушников.

И в один прекрасный день он заметил, что певцов привлекает его правая рука, при помощи которой он управляет их голосами. Вверх, вниз. Быстрее, медленнее. Тихо, спокойно. Слова они заучили, но в том, что касается музыки, руководствовались движениями его руки.

В тот день после вечерни этот безымянный монах сидел рядом с горящей драгоценной свечой, просматривал псалмы, так тщательно записанные им на пергаменте. Он обмакнул перо в чернильницу и записал первую ноту.

Это была волнистая линия над словом. Одна короткая изогнутая линия. Потом он изобразил еще одну. Потом еще. Он изображал свою руку. Стилизованно. Показывая какому-то невидимому монаху, что нужно взять на тон выше. Еще выше. Держать. Подняться чуть выше. Задержаться там на мгновение, а затем свалиться, скатиться вниз в головокружительном музыкальном падении.

Он рисовал и напевал себе под нос. Его простые знаки в виде руки порхали по пергаменту, а с ними оживали и слова, поднимались над столом. Обретали способность летать. Летать радостно. Монах слышал, как к нему присоединяются голоса еще не родившихся братьев, поющих те же псалмы, что освободили его и вознесли его сердце на небеса.

Пытаясь проникнуть в прекрасную тайну, монах изобрел музыкальное письмо. Но еще не ноты — его знаки стали известны под названием «невмы».

Столетия спустя это простое песнопение эволюционировало в сложное. Добавлялись инструменты, созвучия, что привело к появлению аккордов, нотного стана и, наконец, музыкальных нот. До-ре-ми. Родилась современная музыка. «Битлз», Моцарт, рэп, диско, «Энни получает ваше оружие»<sup>1</sup>, Леди Гага — все они плоды того древнего семени. Все они восходят к монаху, изобра-

<sup>1</sup> Американский киномюзикл 1950 года.

жившему свою руку. Монаху, который напевал себе под нос, дирижировал и стремился к Божественному.

Григорианские песнопения лежат в основе западной музыки. Но они были практически убиты ее неблагодарными детьми. Похоронены. Утрачены и забыты.

До начала девятнадцатого века, когда настоятель Проспер, которого огорчала вульгарность церкви и потеря простоты и чистоты, решил, что пришло время возродить изначальное григорианское песнопение. Найти голос Господа.

Его монахи отправились на поиски по всей Европе. Они обыскивали монастыри, библиотеки, просматривали коллекции. С единственной целью: найти оригинальные древние манускрипты.

Монахи вернулись со множеством сокровищ, затерявшихся в библиотеках и коллекциях отдаленных уголков Европы. И вот настоятель Проспер решил, что одна книга хоралов, испи-санная выцветшими от времени невмами, и есть оригинал. Первая и, вероятно, единственная в своем роде письменная запись того, как должны звучать григорианские песнопения. Запись, сделанная на ягнячьей коже почти тысячу лет назад.

И, как это нередко случается, когда слуги Господа не сходятся во мнении, разразилась война. Бенедиктинский монастырь в Солеме и Ватикан обменивались залпами хоралов. Каждый настаивал, что именно их исполнение ближе к оригиналу, а следовательно, ближе к Божественному. Ученые, музыковеды, знаменитые композиторы и скромные монахи высказывали свое мнение. Принимали ту или иную сторону в войне, которая набирала обороты и вскоре превратилась в войну за власть и влияние, а не за простые голоса, поющие осанну Господу.

Кто нашел оригинальные григорианские песнопения? Как следует исполнять Литургию часов? Кто владеет голосом Господа?

Кто прав?

Наконец тридцать лет спустя между учеными возникло тихое согласие. А потом эту проблему еще тише похоронили.

Правых в этом споре не было. И хотя монахи из Солема почти наверняка подошли к истине гораздо ближе, чем Рим, оказа-

лось, что и они не вполне правы. Их находка имела огромную историческую ценность, но... оставалась неполной.

Не хватало какой-то части.

У песнопений имелись слова и невмы, указания, когда монахи должны петь громче, а когда — тише. Когда нота выше, а когда — ниже.

Но чего у них не было, так это точки отсчета. Выше относительно чего? Громче по сравнению с чем? Как если бы нашли подробную карту острова сокровищ, только без указания координат острова.

Всего лишь...

Бенедиктинский монастырь в Солеме быстро заявил о себе как о новом доме старых песнопений. Ватикан в конце концов сдался, и через несколько десятилетий Литургия часов вернула прежнее значение. Воскрешенные григорианские хоралы снова зазвучали в монастырях по всему миру. Простая музыка давала истинное утешение. Хоралы звучали в мире, который становился все более шумным.

И настоятель монастыря в Солеме отошел в мир иной, будучи уверен в том, что он добился чего-то важного, полезного и исполненного смысла. Что он возродил прекрасную и простую традицию. Восстановил искаженные песнопения, вернул их к чистому состоянию и одержал победу над самоуверенным Римом.

Но в глубине души он знал и другое: да, он победил, но цели не достиг. Да, то, что все теперь называли григорианскими хоралами, почти соответствовало оригиналу. Почти обрело божественность. Но не вполне.

Потому что песнопения не имели точки отсчета.

Отец Проспер, и сам одаренный музыкант, не мог поверить, что монах, сумевший записать первые хоралы, не сообщил будущим поколениям о точке отсчета. Им пришлось строить догадки. И вроде бы у них получилось. Но все-таки лучше, когда знаешь наверняка.

Настоятель страстно утверждал, что найденная его монахами рукопись является оригиналом. Но сейчас, на смертном одре, он позволил себе усомниться. Он представил, как тот, другой

монах, точно в такой же мантии, склоняется над рукописью при свете свечи.

Монах завершает первое песнопение, создает первые невмы. А что потом? Пребывая на грани сознания, балансируя между этим миром и тем, что ждет нас после смерти, отец Проспер понял, что должен был сделать тот монах. Тот неизвестный монах должен был сделать то, что он и сделал.

Отец Проспер яснее своих братьев, тихо напевавших молитвы у его одра, видел того давно умершего монаха, склонившегося над столом. Монах вернулся к самому началу. К первому слову. И поставил еще один знак.

В самом конце жизни настоятель Проспер понял, что точка отсчета есть. Но найдет ее уже не он, а кто-то другой. Найдет и разгадает эту прекрасную тайну.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда в Благодатной церкви смолкла последняя нота, в помещении воцарилась тишина, а с ней возникло еще большее беспокойство.

Тишина длилась. И длилась.

Монахи давно привыкли к тишине, но такая тишина даже им казалась чрезмерной.

И все же они неподвижно стояли в своих длинных черных мантиях с белым верхом.

Ждали.

Они давно привыкли и к ожиданию. Но такое ожидание тоже казалось чрезмерным.

Наименее дисциплинированные из них косили глазом на высокого, стройного пожилого человека, который вошел последним, а выйти должен первым.

Настоятель Филипп стоял с закрытыми глазами. Если раньше тот момент, когда ночная служба уже закончена и пора подавать знак для колоколов к «Ангелусу», был моментом полного душевного покоя, абсолютного единения с Богом, то теперь это был просто уход от реальности.

Настоятель закрыл глаза, потому что не хотел видеть.

К тому же он знал, что увидит. То, что и всегда находилось там. За сотни лет до его появления на свет и, если это будет угодно Господу, останется еще на сотни лет, после того как его прах унесут на кладбище. Два ряда монахов по одну сторону от него, облаченных в черные мантии с белым капюшоном, подвязанные простой веревкой.

А по другую сторону от него, справа, еще два ряда монахов.



Они стояли друг против друга на каменном полу церкви, словно древние рыцари, изготовившиеся к бою.

«Нет, — сказал он своему усталому мозгу. — Нет. Я не должен думать об этом как о сражении или войне. В здоровом обществе люди имеют право на противоположные точки зрения».

Тогда почему же ему так не хотелось открывать глаза, начинать новый день?

Давать знак ударить в колокола, чтобы звон «Ангелуса» разнесся над лесами, и птицами, и озерами, и рыбами. И монахами. Донесся до ангелов и всех святых. И до Господа.

Кашель.

В этой великой тишине он прозвучал как взрыв бомбы. А уши настоятеля восприняли его как то, чем он и был.

Как вызов.

Усилием воли настоятель продолжал держать глаза закрытыми. Сохранял спокойствие. Но благодать ушла. Осталась только паника — снаружи и внутри. Он ощущал, как она исходит от безмолвно ждущих монахов, передается от одного к другому.

Он чувствовал, как она рождается внутри его.

Отец Филипп медленно досчитал до ста. Потом открыл голубые глаза и посмотрел прямо на низенького, коренастого человека, который стоял с открытыми глазами, сложив на животе руки, с еле заметной улыбкой на бесконечно терпеливом лице.

Настоятель чуть прищурился, привыкая к свету, затем поднял худую руку — подал знак. И раздался звон колоколов.

Идеальный, глубокий, сочный звон несся с колокольни и проникал в предрассветную темноту. Он скользил над прозрачным озером, лесами, округлыми холмами. Его слышали все живые существа.

И двадцать четыре человека в отдаленном монастыре в Квебеке.

Трубный глас. Их день начался.

- Ты шутишь, — рассмеялся Жан Ги Бовуар.
- Ничего я не шучу, — ответила Анни. — Клянусь, это правда.
- Ты хочешь мне сказать... — он подцепил вилкой еще один кусочек бекона, приправленного кленовым соком, — что твой

отец, начав встречаться с твоей матерью, подарил ей коврик для ванной?

— Нет-нет. Это было бы смешно.

— Конечно, — согласился Бовуар и быстро доел бекон.

Откуда-то издалека доносилась музыка из старого альбома «Бо Доммаж». «La complainte du phoque en Alaska»<sup>1</sup>. Об одиноком тюлене, который потерял свою любимую. Бовуар напевал себе под нос знакомую мелодию.

— Он подарил этот коврик моей бабушке в тот день, когда они познакомились, — подарок хозяйке за то, что пригласила его на обед, — закончила Анни.

Бовуар рассмеялся.

— Он мне этого никогда не говорил, — еле выговорил он, давясь от смеха.

— Ну, отец не очень любит вспоминать об этом в светских разговорах. Бедная мама. Почувствовала, что должна выйти за него. Иначе кто бы его взял?

Бовуар снова рассмеялся:

— Насколько я понимаю, планка была установлена очень низко. Я с трудом подыскал тебе подарок еще хуже.

Он опустил руку под стол. В это субботнее утро на залитой солнцем кухне они вместе приготовили завтрак. На маленьком сосновом столе красовалось блюдо с яичницей-болтуней, беконом и плавленым сыром бри. Начиналась осень, и перед завтраком Бовуар натянул свитер и отправился за круассанами и булочками с шоколадной начинкой в пекарню на рю Сен-Дени, за угол от дома Анни. Потом зашел еще в два-три магазина, заглянул в пару кофеен, купил свежие монреальские газеты и кое-что другое.

— Что там у тебя? — спросила Анни Гамаш, перегибаясь через стол.

На пол спрыгнул кот и нашел место, освещенное солнечным лучиком.

<sup>1</sup> «Бо Доммаж» (фр. Beau Domage) — канадская рок-группа, более всего известная своей песней «La complainte du phoque en Alaska» — «Жалобы аляскинского тюленя».

— Ничего, — ухмыльнулся Бовуар. — Какая-то штуковина, назначения которой я не понимаю, а если я чего-то не понимаю, то думаю о тебе.

Бовуар показал ей то, что принес.

— Ах ты, придурок! — рассмеялась Анни. — Это же вантуз!

— С бантиком, — уточнил Бовуар. — Это тебе, ma chère<sup>1</sup>. Мы уже три месяца вместе. Со счастливым юбилеем.

— Ну конечно, вантузный юбилей. А у меня для тебя ничего нет.

— Я тебя прощаю, — смилостивился он.

Анни взяла вантуз:

— Каждый раз, пользуясь этим инструментом, я буду думать о тебе. Хотя мне кажется, что ты будешь пользоваться им гораздо чаще. Ведь в тебе этого полным-полно.

— Как мило, — хмыкнул Бовуар, чуть наклонив голову.

Анни сделала выпад и осторожно коснулась Бовуара чашей вантуза, как фехтовальщик — острием рапиры.

Бовуар улыбнулся и отхлебнул крепкого ароматного кофе. Это так похоже на Анни. Другие женщины сделали бы вид, что этот идиотский вантуз — волшебная палочка, но Анни притворилась, будто у нее в руках оружие.

Жан Ги, конечно, понимал, что никакой другой женщине, кроме Анни, он не подарил бы вантуз.

— Ты мне соврал, — сказала она, снова садясь. — Папа наверняка рассказывал тебе про коврик.

— Рассказывал, — признался Бовуар. — Мы были в Гаспе, в домике браконьера, искали улики, и тут твой отец открыл кладовку и нашел не один, а целых два новеньких коврика для ванной, все еще в упаковке.

Он рассказывал, глядя на Анни. Она не сводила с него глаз, даже почти не мигала. Впитывала каждое его слово, каждый жест, каждую интонацию. Его бывшая жена Энид тоже слушала его. Но с какой-то настойчивой требовательностью. Словно он был ей чем-то обязан. Словно она умирала, а его принимала как лекарство.

<sup>1</sup> Моя дорогая (*фр.*).

Энид рассталась с Жаном Ги, опустошив его и при этом чувствуя, что ей этого недостаточно.

А вот Анни была мягче. Щедрее.

Она, как и ее отец, умела слушать внимательно и спокойно.

Бовуар никогда не говорил Энид о своей работе. Анни знала о его работе все.

И сейчас, намазывая клубничный конфитюр на теплый круассан, он рассказывал ей о домике браконьера, о том деле, о зверском убийстве целой семьи. О том, что они нашли, что чувствовали, кого арестовали.

— Коврики для ванной оказались ключевой уликой, — проговорил Бовуар, поднося круассан ко рту. — Хотя мы поняли это далеко не сразу.

— Тогда отец и рассказал тебе о собственной печальной истории с ковриком?

Бовуар кивнул, продолжая жевать. Он вспомнил, как старший инспектор в том мрачном домике шепотом рассказывал ему свою историю. Они не знали, когда ждать возвращения браконьера, и опасались, что он застанет их врасплох. Они получили ордер на обыск, но не хотели, чтобы браконьер знал об этом. И вот, пока два следователя из убойного отдела проводили обыск на скорую руку, старший инспектор рассказывал Бовуару историю про коврик. О том, как он пришел на один из самых главных обедов в своей жизни, обуреваемый желанием произвести хорошее впечатление на родителей женщины, в которую безнадежно влюбился. И почему-то он решил, что коврик для ванной будет идеальным подарком для хозяйки.

«Как вам такое пришло в голову, сэр?» — прошептал Бовуар, поглядывая в треснутое, затянутое паутиной окно, чтобы не пропустить подлого браконьера, возвращающегося со своей добычей.

«Понимаешь... — Гамаш замолчал, видимо пытаясь вспомнить, как ему пришла в голову такая мысль. — Мадам Гамаш часто задает мне тот же вопрос. И ее мать не уставала его повторять. А вот ее отец решил, что я недоумок, и никогда не поднимал эту тему. Но хуже всего то, что, когда они умерли, мы нашли этот коврик у них в кладовке — он оставался в упаковке и с ценником».

Бовуар закончил рассказывать и посмотрел на Анни. Недавно они вдвоем принимали душ, и ее волосы все еще оставались влажными. От нее исходил запах чистоты и свежести, как от лимонного дерева, растущего под теплым солнцем. Никакой косметики. Теплые тапочки и свободная, удобная одежда. Анни знала толк в моде и умела хорошо одеваться, но удобство ценила больше.

Она не была такой уж стройной. И не обладала ошеломляющей красотой. В ней не было тех качеств, которые Бовуар всегда находил привлекательными в женщине. Но Анни знала кое-что, о чем не догадывается большинство людей. Она знала, как прекрасно быть живой.

Жану Ги Бовуару потребовалось почти сорок лет, но в конечном счете он тоже понял это. И теперь знал, что нет в мире ничего прекраснее.

Анни вскоре должно было исполниться тридцать лет. Когда они познакомились, она была неуклюжим подростком. Старший инспектор только что принял Бовуара в отдел по расследованию убийств Квебекской полиции. Из сотен агентов и инспекторов, находившихся под его началом, Гамаш выбрал именно Бовуара, молодого, дерзкого агента, которого не хотели брать к себе ни в одном другом отделе, и вырастил из него своего заместителя.

Сделал его частью команды, а с годами и частью семьи.

Хотя сейчас старший инспектор даже не подозревал, в какой мере Бовуар стал частью его семьи.

— Что ж, — произнесла Анни с кривой улыбкой, — теперь у нас есть собственная туалетная история, чтобы морочить голову нашим детям. Когда мы умрем, они найдут эту штуку, — она подняла вантуз с веселенькой красной чашей, — и станут гадать, к чему бы это.

Бовуар боялся открыть рот. Понимает ли Анни, что она сейчас сказала? С какой легкостью она предположила, что у них будут дети. Внуки. Что они умрут вместе. В доме, где пахнет свежим лимоном и кофе. Где кот нашел солнечное пятнышко и нежится на нем.

Они жили вместе вот уже три месяца, однако ни разу не говорили о будущем. Но когда он услышал об этом сейчас, ее слова

показались ему такими естественными. Словно они всегда строили подобные планы на жизнь. Растить детей. Стареть вместе.

Бовуар произвел несложные подсчеты в уме. Он на десять лет старше Анни и почти наверняка умрет раньше. При этой мысли он почувствовал облегчение.

Но одно не давало ему покоя.

— Мы должны сообщить твоим родителям, — сказал он.

Анни помолчала, отщипнула кусочек круассана.

— Я знаю. Не то чтобы я этого не хотела. Но... — Она обвела взглядом кухню, посмотрела в сторону заставленной книжными шкафами гостиной. — Но нам так хорошо вдвоем.

— Ты побаиваешься?

— Того, как они это воспримут?

Анни задумалась, и у Жана Ги неожиданно громко застучало сердце. Он предполагал, что она тут же скажет «нет». Заверит его, что родители будут рады их решению.

Но она все еще медлила.

— Наверное, чуть-чуть побаиваюсь, — наконец ответила Анни. — Нет, они наверняка будут в восторге, но это многое меняет. Ты понимаешь?

Он понимал, но не осмеливался признаться в этом даже самому себе. Что, если шеф не одобрит их решения? Помешать им он не сумеет, но это обернется катастрофой.

«Да нет, — в сотый раз сказал себе Жан Ги, — все будет хорошо. Шеф и мадам Гамаш будут рады. Очень рады».

Но ему хотелось уверенности. Знания. Этого требовал его характер. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что собирал факты, и эта неопределенность угнетала его. Единственная тень в жизни, неожиданно ставшей такой светлой.

Бовуар не мог и дальше продолжать обманывать шефа. Он убедил себя, что он не лжец, просто его частная жизнь никого не касается. Но в глубине души чувствовал себя предателем.

— Ты правда считаешь, что они будут рады? — спросил он Анни, досадуя на себя за легкую дрожь в голосе.

Но Анни либо ничего не заметила, либо не придавала этому значения. Она наклонилась к Бовуару, облокотившись на сосновую столешницу, усыпанную крошками от круассана, и взяла его руку в свои теплые ладони.

— Когда узнают, что мы вместе? Отец будет очень счастлив. Это мать тебя ненавидит...

Увидев, что он нахмурился, она рассмеялась и сжала его руку:

— Да шучу я! Она тебя обожает. С первого дня. Ты же знаешь, они считают тебя членом семьи. Вторым сыном.

Бовуар смутился, почувствовав, как покраснели его щеки от этих слов, но Анни опять сделала вид, что ничего не заметила.

— Тогда в наших отношениях можно усмотреть элементы инцеста, — выдавил он.

— Да, — согласилась Анни, отпуская его руку, чтобы глотнуть кофе с молоком. — Мечта моих родителей сбывается. — Она рассмеялась, отпила кофе и поставила чашку. — Ты знаешь, отец будет в восторге.

— Но и удивится тоже?

Анни помедлила с ответом:

— Наверное, он будет ошарашен. Забавно, правда? Отец всю жизнь ищет улики, строит гипотезы. Собирает вещественные доказательства. Но не видит того, что происходит у него под носом. Наверное, потому, что это слишком близко.

— От Матфея, десять, тридцать шесть, — пробормотал Бовуар.

— Что?

— Твой отец не устает повторять нам в отделе эту цитату. Один из первых его уроков для новичков.

— Цитату из Библии? — переспросила Анни. — Но родители никогда не ходят в церковь.

— Вероятно, он узнал про нее у своего наставника, когда поступил в полицию.

Раздался звонок телефона — не настойчивый трезвон стационарного, а веселый, всепроникающий звук мобильного. Это был телефон Бовуара. Жан Ги побежал в спальню, схватил мобильник с тумбочки.

На экране высветился не номер, а только слово.

«Шеф».

Он чуть было не нажал сразу на зеленый значок трубки, но вовремя остановился. Вышел из спальни в наполненную светом гостиную Анни. Не мог он разговаривать с шефом, стоя перед кроватью, на которой утром занимался любовью с его дочерью.

— Oui, allô?<sup>1</sup> — спросил он, стараясь говорить непринужденным тоном.

— Извини, что побеспокоил тебя, — раздался знакомый голос, звучавший одновременно расслабленно и властно.

— Ничего страшного, сэр. Что-то случилось?

Бовуар кинул взгляд на часы на каминной полке. 10:23 субботнего утра.

— Убийство.

Значит, звонок был срочный. Не приглашение на обед. Не какой-то кадровый вопрос и не подготовка дела для суда, а призыв к оружию. Звонок извещал о том, что случилось нечто ужасное. И хотя Бовуар вот уже больше десятилетия слышал это слово, каждый раз его сердце содрогалось. Пускалось вскачь. И даже немного пританцовывало. Не от радости при получении известия об ужасной и преждевременной смерти. А оттого, что они с шефом и другими сотрудниками снова выходят на след.

Жан Ги Бовуар любил свою работу. Но сегодня, в первый раз в жизни, он кинул взгляд в сторону кухни и увидел в дверном проеме Анни, которая смотрела на него. И с удивлением обнаружил, что любит не только работу.

Бовуар схватил свой ноутбук, уселся на диван Анни и наскоро записал детали. Закончил и посмотрел на то, что получилось.

— Святое дерьмо, — прошептал он.

— Как минимум, — согласился старший инспектор Гамаш. — Подготовь все, ладно? И пока только мы с тобой. Когда приедем, возьмем с собой местного агента.

— А инспектор Лакост разве не нужна? Пусть бы организовала работу криминалистов на месте преступления и уехала.

Старший инспектор Гамаш ответил без промедления:

— Нет. — Он издал короткий смешок. — Боюсь, что криминалистами в данном случае будем мы с тобой. Надеюсь, ты помнишь, как это делается.

— Я прихвачу с собой Гувера<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Да, алло? (*фр.*)

<sup>2</sup> Вероятно, имеется в виду Эдгар Гувер, один из директоров ФБР, автор нескольких книг по юриспруденции.



— Вон<sup>1</sup>. Я уже положил в карман увеличительное стекло. — После небольшой паузы голос в трубке зазвучал более деловито: — Нам нужно добраться туда как можно скорее, Жан Ги.

— D'accord<sup>2</sup>. Позвоню кое-кому и буду у вас через пятнадцать минут.

— Через пятнадцать? Это из центра-то города?

Бовуар почувствовал, как сердце на мгновение остановилось. Его маленькая квартирка находилась в центре Монреаля, а Анни жила в квартале Плато-Мон-Руаяль, в нескольких кварталах от дома родителей в Утремоне.

— Суббота. На дорогах пусто.

Гамаш рассмеялся:

— С каких это пор ты стал таким оптимистом? Буду ждать, когда бы ты ни приехал.

— Я быстро.

Бовуар тут же сделал несколько звонков и отдал организационные распоряжения. Потом побросал в сумку разную одежду.

— Многовато белья, — заметила Анни, усевшись на кровать. — Это надолго?

Тон был беспечным, но в ее позе ощущалось напряжение.

— Ты же меня знаешь, — ответил Бовуар, отвернувшись, чтобы засунуть пистолет в кобуру. Анни знала, что он берет оружие, но не хотела этого видеть. Даже для женщины, умеющей принимать реальность, оружие было штукой слишком уж реальной. — Слава богу, у нас есть вантуз, иначе мне бы требовалось больше трусов.

Она улыбнулась, и это его порадовало.

У дверей Бовуар остановился и поставил сумку на пол.

— Je t'aime<sup>3</sup>, — прошептал он на ухо Анни, прижимая ее к себе.

— Je t'aime, — прошептала она в ответ. — Береги себя, — сказала она, когда они разомкнули объятия. А потом, когда он уже начал спускаться по лестнице: — И пожалуйста, присматривай за моим отцом.

— Непременно. Обещаю.

<sup>1</sup> Хорошо (*фр.*).

<sup>2</sup> Ясно (*фр.*).

<sup>3</sup> Я тебя люблю (*фр.*).

Когда его машина исчезла из виду, Анни Гамаш закрыла дверь и прижала руку к груди.

Неужели точно такое же чувство все эти годы испытывала ее мать?

Что чувствовала ее мать в такие моменты? Так же прикидала к двери, глядя, как исчезает из виду ее сердце? Отпустив его...

Анни подошла к книжным шкафам в гостиной. Минута — и она нашла то, что искала. Библию, подаренную ей родителями на ее крещение. В церковь они не ходили, но ритуалы соблюдали.

И Анни знала, что, когда у нее появятся дети, она их тоже будет крестить. Они с Жаном Ги подарят им Библии в белом переплете с их именами и датами крещения.

Она посмотрела на плотную первую страницу. Да, конечно, там стояло ее имя. Анна Дафна Гамаш. И дата. Написанная рукой ее матери. Но вместо крестика под ее именем родители нарисовали два маленьких сердечка.

Анни села на диван, глотнула остывшего кофе, принялась листать незнакомую книгу и наконец нашла то, что искала.

Матфей, 10: 36.

— «И враги человеку — домашние его», — вслух прочла она.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Открытая алюминиевая лодка рассекала волны, то и дело подпрыгивая, и брызги холодной воды летели в лицо Бовуару. Он мог пересесть ближе к корме, но ему нравилось сидеть на крохотном треугольном сиденье на самом носу. Он наклонился вперед, подозревая, что выглядит как возбужденный ретривер на охоте.

Но это его не волновало. Он только радовался, что у него нет хвоста, который подмочил бы его репутацию молчуна. Да, хвост для следователя убойного отдела стал бы большим недостатком.

Рев мотора, подскоки, рывки — все это воодушевляло Бовуара. Ему нравились даже бодрящие брызги и аромат свежей воды и леса. И едва ощутимый запах рыбы и червей.

Пока не возникало необходимости перевозить следователей убойного отдела, эта маленькая лодка явно использовалась для ловли рыбы. Не на продажу — для таких дел она не вышла размером, и к тому же это отдаленное озеро не предназначалось для коммерческой ловли, — а для удовольствия. Лодочник забрасывал блесну в прозрачные воды скалистой бухты. Сидел весь день, время от времени закидывал блесну. И крутил катушку.

Закидывал. И крутил. Наедине со своими мыслями.

Бовуар взглянул на корму. Большой обветренной рукой лодочник держал румпель подвесного мотора. Другая его рука лежала на колене. Он тоже наклонил корпус вперед, как его научили еще в детстве. Его пронзительно-голубые глаза смотрели вперед. На бухты, островки и проливы, издавна знакомые ему.

«Какое, наверное, удовольствие, — подумал Бовуар, — всю жизнь заниматься одним и тем же». Прежде одна эта мысль вызывала у него отвращение. Рутинка, повторы. Настоящая смерть. Или как минимум смертельная скука. Скука предсказуемой жизни.

Но в последнее время Бовуар начал сомневаться в своей правоте. Вот сейчас он неся в открытой лодке к новому делу. Брызги и ветер хлестали ему в лицо. А ему хотелось сидеть рядом с Анни и читать вместе с ней субботние газеты. Заниматься тем, чем они занимались каждый уик-энд. Снова и снова. Снова и снова. До самой смерти.

Но уж если он не может быть рядом с Анни, то вот его второе любимое занятие. Он окинул взглядом леса, скалы на берегу, пустынное озеро.

Ему попадались рабочие места и похуже.

Бовуар слегка улыбнулся лодочнику на корме. Это озеро было и его рабочим местом. Он высадит их, найдет себе тихую бухточку и достанет спиннинг.

И будет закидывать. А потом крутить.

Если подумать, это не так уж отличалось от того, чем занимались они с Гамашем. Закидывали удочку в поисках улик и свидетелей. А потом выуживали их.

А когда приманка была достаточно большая, они вытаскивали и убийцу.

Впрочем, если только дело не приобретало совершенно непредсказуемого оборота, они обычно не съедали свою добычу.

Перед лодочником сидел капитан Шарбонно, глава отделения Квебекской полиции в Ла-Мориси. Ему было лет сорок пять — чуть больше, чем Бовуару. Атлетического сложения, энергичный, капитан казался человеком, способным подмечать все детали.

Чем он сейчас и занимался.

Капитан Шарбонно встретил их у трапа самолета и провез полкилометра до пристани, где уже ждала лодка.

— Познакомьтесь: Этьен Лего, — представил он лодочника.

Тот кивнул, явно не расположенный к более вежливому приветствию. От Лего пахло бензином, он курил, и Бовуар отступил от него на шаг.